

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С42

Разработка серийного оформления
Марии Коняевой

Скирюк, Дмитрий Игоревич.

С42 Руны судьбы / Дмитрий Скирюк. — Москва : Эксмо, 2020. — 512 с. — (Осенний лис).

ISBN 978-5-04-105796-1

Он пришел ночью, чтобы спасти умирающего. Он больше не воин, лишь лекарь. Жуга решил оставить борьбу в прошлом. Но как укрыться от того, что идет за тобой по пятам?

Беды и испытания готовит будущее для Лиса. Теперь травника нарекли еретиком и ищут, чтобы предать огню. Друзья, которых надо спасать, девушка-сирота, которую нужно принять, заговоры, которым невозможно не противостоять. Справишься ли ты с предначертанным?

Третий роман Дмитрия Скирюка – завораживающий, фантастический, но в то же время очень правдивый и трогательный – продолжает историю о травнике Жуге.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Скирюк Д. И., 2020
© Оформление.

ISBN 978-5-04-105796-1

ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Кукушка, кукушка, сколько мне жить?

Неважно кто.

Никто

*Где тебя ветер носит,
Мокрая знает осень.
Имя никто не спросит.
Светится иней-просесть.*

РЕВЯКИН¹

Мать Ялки умерла в дождливом сентябре, когда был убран урожай и наступило время свадеб. Умерла внезапно, в одночасье — что-то случилось в груди, она упала прямо на дворе с ведром воды и больше не поднялась, лишь стонала и держалась за сердце. Ялка плакала, пыталась звать на помощь, а когда не дозволялась, сама тащила в меру своих слабых, полудетских сил тяжёлое неподатливое тело. Тащила в дом.

А за плетнём гулял народ, хмельной, весёлый — сразу три деревни породнились молодыми семьями. Гуляли третий день, срывая бабье лето, отмечая пьянкой тёплые деньки. Бродячий музыкант с огромным барабаном, похожий на большую букву «Ю», остервенело, весело лупил свинячью кожу, подгоняя ритмом деревенских плясунов. Какие-то цветочки, ленточки мелькали тут и там. Звенела музыка — волынки, дудки, скрипки... А Ялка плакала, сперва затаскивая маму в дом, потом на улице пытаясь докричаться, объяснить. Народ не понимал. Одни смеялись чему-то и на девку не глядели вовсе, другие отворачивались, уходили, а третьи и четвёртые уже лежали под забором и пу-

¹ Дмитрий Ревякин, «Прошлое поделом».

Дмитрий Скирюк

скали пузыри. Из кабака вдруг вывалился Петер — маленький зубастый рыжий паренёк с соседней улицы: «Эй, что грустишь, красавица? Обидел кто или плясать не позвали? Дай поцелую, всё пройдёт!» Она отбилась, убежала. И лишь когда наткнулась в толчее на тётку Катлину, сумела объяснить.

Когда селяне всей толпой ввалились в дом, мама уже не дышала.

На следующий день дождь зарядил опять, и лето кончилось.

Совсем.

Мать лежала на столе, холодная, не похожая на себя. Уже прибрали в доме, уже покойницу успели обрядить. Пришёл священник. Ушёл. Пришёл опять, привёл других. Снимали мерку с тела, говорили о чём-то. Спрашивали Ялку. Ялка не хотела понимать, не отвечала, забиваясь в угол маленьким зверьком, лишь дорожки слёз сбежали по щекам. Её не трогали, сперва пытались утешать, но после перестали. Часто бегали во двор. Уже зачем-то мерили избу верёвочным аршином, изредка косясь на девочку в углу и спешно отводя глаза.

Потом был ход. Вчерашний музыкант уже не веселился, медленная музыка плыла в холодном воздухе, как липкая густая паутина. Чернели листья на деревьях, вниз с ветвей текла холодная вода.

Церковь.

Кладбище.

Зарытая могила.

Крест.

Вернулись поздно до накрытого стола. Заговорили разом. Три дня гулянья утомили ноги, головы и животы. Поминками заквасили похмелье, а кто остался, просидел до утра.

Оставшуюся сиротой девочку забрала к себе сестра отца. Её, уже три года как покойного, отца. Неделю Ялка убегала к дому каждый день, стояла у плетня, смо-

трела и ждала. Потом туда пришли другие люди — молодожёны этой осени. Пришли и поселились в доме, где всегда жила она и когда-то — её мама. Деревенский староста всякий раз находил её и отводил обратно к мачехе.

Минула вечность, сбитая гвоздями гроба в девять страшных дней, прежде чем Ялка поняла, что мамы нет и больше никогда не будет.

Время кончилось. В душе у девочки настала пустота. И осень.

* * *

Дороги города сбежались и немедля разбежались гнутым перекрёстком. Босые ноги быстро сосчитали тёплые булыжники мостовой, тяжёлое дыхание замесилось между сдвинутых домов. Мальчишка вылетел из-за угла, едва не поскользнувшись в луже вылитых помоев, поймал равновесие, огляделся по сторонам и метнулся направо, в узкий, прямой как спица переулок. Пробежал его насквозь и только после услышал за спиной топот преследователей. Остановился, перевёл дыхание и вновь помчался что есть сил.

Бегущие, похоже, разделились: теперь за ним бежал только один, и, судя по тяжёлой поступи, это был Оскар. Ученики его побаивались. Кряжистый, лопухий, с большими волосатыми руками, подмастерье сапожного мастера слыл забиякой и подхалимом. Ко всему прочему, он был ещё и обладателем широкого матросского ремня с медной пряжкой, с которым управлялся виртуозно. Фриц похолодел: этот в лепёшку расшибётся, но мальчишку постарается найти. Он из последних сил рванулся туда, где в стене заброшенного дома торчали два костыля, один выше другого, подскочил, запрыгнул, ухватился и залез в разбитое окно. Оттуда, даже не рискуя выглянуть наружу, устре-

мился вверх по приставной чердачной лестнице, которую сразу втащил за собою. По крыше осторожно перелез на дом, стоявший по соседству, оттуда — дальше, и ещё, покуда не добрался до чердачного окна, где он когда-то обустроил себе убежище. Здесь не было мансард, один чердак. Стараясь не шуршать насыпанным меж потолочных балок шлаком, Фриц забился в самый угол у печной трубы и затаился, напряжённо вслушиваясь в темноту.

Всё было тихо. Преследование, похоже, прекратилось. Во всяком случае, ни криков, ни шагов не доносилось. Мышонок юркнул в норку.

Теперь можно было перевести дух.

Фриц привалился спиной к нагретым кирпичам и посмотрел вверх, где лучики заката пробивались через трещинки в разбитой черепице. Теперь, когда погоня отцепилась, накатили злорадия и расстройство. Ну что он им сделал? В самом деле, что? Всего-то-навсего — зажёл свечу, когда она погасла. Фриц как раз кроил верхушку башмака, а мастер Гюнтер был ужасно строг на этот счёт. Испорти Фриц сегодня заготовку, порки было бы не миновать, а тут Хуб возьми и зайди. Да ещё и дверью хлопнул так, что свечу задуло. А кожу на столе попробуй разгляди без света — чёрное на чёрном! Ножик дрогнул в пальцах, Фриц перепугался и, совершенно не подумав о последствиях, зажёл свечу обратно. Ну и что с того, что *словом*? Словом даже интереснее, быстрее и легче, и вообще. Не то что кремнём и огнём. И к камину ходить не надо. Да и выкройка, наверно, удалась бы, не вмешайся в дело Вальтер. Фриц невольно сморщился и потряс руками — следы от тяжёлой угловой линейки до сих пор краснели на тыльной стороне ладоней.

А только, видимо, не зря его ругала мать, когда он баловался искрами на пальцах и летающими кубиками или, например, переплавлял в ладонях сахар

в леденцы для младшенькой сестрѐнки — та была так рада. Только мама огорчалась всякий раз, лупила их обоих чем ни попадя, а после плакала и волокла его к распятию замаливать грехи. А Фриц не мог понять в свои неполных десять лет, за что и почему от него требуют просить прощения у бога, ведь он не сделал ничего плохого. А потом мать гладила его и плакала, и говорила, чтобы он не делал больше так нигде и никогда. Фриц обещал и, разумеется, так больше никогда не делал.

Делал по-другому.

Снова начинались причитания и рыдания, вновь плакала сестрѐнка, от которой требовали всё забыть и никому об этом не рассказывать. И всякий раз, когда соседи приходили, чтоб сообщить об очередных проделках детворы, в которых поучаствовал её сынок, мать бледнела и хваталась за дверной косяк. Но пока всё обходилось. Фриц участвовал в обыкновенных проказах — выбитые стѐкла, краденые булки, выкрашенные в тигров соседские кошки и побитые соседские мальчишки, безо всяких признаков волшбы и сатанинских огоньков и наговоров (разве только детские считалки). Он не вышел ростом, но был прыгучим, непоседливым, смышлѐным парнем. Если бы только не эта его ворожба!

Сказать по правде, беспокойство матери немного притуплялось в церкви — на причастии и проповедях юный Фридрих вѐл себя вполне прилично. Отвлекался и зевал, конечно, не без этого, вертелся, перешѐптывался с соседями и ловил мух, но так поступал любой мальчишка в его возрасте. Он спокойно принимал из рук священника гостии для причастия и повторял молитвы, и на сердце матери теплоело. Бог не отторгал непутѐвого сына. Но даже на исповеди она не решалась поведать обо всех его проделках — слишком велик был страх пред дознавателями. Ведьм

на площади сжигали каждый месяц, и если бы хоть кто-нибудь прознал...

Немудрено, что когда ей удалось в канун четырнадцатилетия пристроить сына в обучение к башмачнику (причём не к замухрышке из холодных, что работают на улицах, а к самому мастеру Пюнтеру), она взяла с него честное слово, что он будет сдерживаться и не станет ворожить на людях, в мастерской.

Но он забылся! Просто-напросто забылся! Эта выкройка была его первым серьёзным заданием, он так гордился им! И если бы не та проклятая свеча...

Фриц вздохнул, пошарил под треснувшим корытом для раствора и извлёк наружу одеяло, свечку и засохшую горбушку хлеба. Помедлил, положил обратно кремень и огниво, укрепил огарок меж камней и прошептал короткий наговор. Прищёлкнул пальцами. Свечка вспыхнула, зажглась и озарила жёлтым светом старый чердак. Фриц против воли расплылся в улыбке: получилось! У него снова получилось! Пусть никто не видит, но всё равно — получилось.

Где-то в глубине души он понимал, что сотворил непоправимое, и в то же время был ужасно горд собой. Невелика важность — маленькие искорки: это любая кошка так может, если её долго гладить. Иное дело — настоящий, живой огонёк.

Внезапно он помрачнел. Теперь один лишь бог мог знать, какое наказание надлежит ему понести. Во всяком случае, он успел выскочить на улицу до того, как ошарашенные лица подмастерьев исказились ужасом. Он не хотел сейчас идти домой, и не потому даже, что боялся огорчить маму. Ему не было страшно, но в глубине души Фриц понимал, что в этот раз она не сумеет его защитить. Даже так: не *посмеет*. Путь домой отныне был заказан. Куда теперь податься, он не знал.

Да в конце концов, не сожгут же его за это на костре!

Внезапно Фриц похолодел: а вдруг сожгут?

Закат догорал. Сумеречный Гаммельн заметал следы. Фриц расправил одеяло, подложил под голову свёрнутую куртку и растянулся на жёстких досках. Завтра, подумал он, уже засыпая. Он подумает об этом завтра. А сейчас — спать. Спать...

Почему-то сегодня он очень устал.

И не только от беготни по улицам.

* * *

У двоюродной тётки, в чьей семье жила теперь Ялка, было несколько детей. Не семеро по лавкам, как обычно в таком разе говорится, но тоже не мало — пять. Поэтому шестой (точнее, шестая) не стал большой обузой, равно как не стал и подмогой.

Дни были серы. Ночи...

Не было ночей. Стремясь забыться и забыть, девчонка бралась за любую работу, какую поручали. Сидела в темноте, пряла, вязала, шелушила фасоль, готовила на завтра кашу или занималась чем-нибудь ещё, только чтоб не думать и не вспоминать. Иногда удавалось.

Нельзя сказать, что мачеха была к ней зла. Наоборот, старалась проявить участие, пыталась быть с ней ласковой, ловя порою на себе неодобрительные взгляды мужа и родных детей. Но Ялка чувствовала жалость. Может, само по себе это было и неплохо, кабы за этой жалостью крылась любовь. Но как раз любви и не было. Ялка всё больше замыкалась в себе. В этом доме ей ни разу не удалось ощутить спокойствие и радость понимания того, что рядом кто-то есть, большой и тёплый, в чьи колени можно уткнуться и поплакать, когда больно, или спрятаться, когда страшно. Да она и не пыталась это ощутить. Ялка медленно, но верно разучалась плакать. Даже ес-

ли названные братья обижали её, она не плакала и не кричала, не звала на помощь, не давала сдачи. С сёстрами вообще не разговаривала. Ни разу не назвала мачеху мамой, а отчима — отцом. Собственный отец ей помнился довольно плохо, вспоминались только грубые ладони, иногда — противный запах перегара, иногда — весёлая улыбка и колючие усы, пропахшие табачным дымом, если тот был в добром настроении. Другое дело — мать и дом. Замены им девочка не желала принимать и отторгала всех, включая самой себя. Произойди потеря раньше или позже, может, всё сложилось бы иначе: детский ум умеет забывать, а взрослый — принимать удар судьбы.

Серые клубки спрядённых ею нитей громоздились в сундуках, ожидая красок и весны. Сама же девочка, казалось, тоже истончалась, прядя кудель своей души в одну такую же бесконечную серую нить. Ей неоткуда было ждать весны. Она понимала, что идти ей некуда и незачем. И становилась никем.

Прошла зима. Весна нагрянула во всей своей весёлой кутерьме, теперь казавшейся нелепой и пустой. Потом явилось лето. Ялка часто уходила за грибами и за ягодами, собирала травы, порою пропадая на целый день. Лес не казался ей загадочным и страшным, наоборот, тишина и сумрак помогали забывать. Она училась слушать и смотреть, но любопытства в этом не было. Приёмные родители не стали ей перечить. И мачеха, и отчим отчаялись понять, что делать с падчерицей, и махнули на неё рукой, принимая молчание за обиду, а нежелание вернуться в мир — за показушное презрение. Священник говорил с ней пару раз, но тоже не добился ничего. Всё чаще она ловила на себе неодобрительные взгляды поселян; порой мальчишки стайками бежали за девчонкою, бросая шишки и снежки, выкрикивая ей вослед: «Приёмная! Кукушка! Дура подкидная!»

Кто первым придумал обозвать её кукушкой, девочка не знала, да ей было уже всё равно. Она и не откликлась.

Так миновало три года. Ялка незаметно превратилась в девушку: её весна настала против воли. Горе задушило в ней побегу юношеской страсти, но когда повзрослела душа, повзрослело и тело. Она быстро вытянулась и похудела (как выразилась мачеха — «выстрелила»), на лице сильнее обозначились глаза. Красавицею Ялка не была, однако и дурнушкой тоже. Стройная, с узкой костью, она была довольно рослая для своего возраста, с приятными мягкими чертами лица, слегка курносый носиком и тёмными густыми волосами. Вот только никто не говорил ей, что она красива и желанна, тогда, когда обычно это говорят девочкам матери, подружки, а затем и женихи. В страду она работала не меньше, чем другие, на поле, на току, на маслобойне. Кое-кто заглядывался на неё, но посиделки, вечеринки и гулянья — все забавы юной жизни Ялка пропускала мимо, а всех тех, кто у неё искал внимания и счастья, отпугивал нездешний, непонятный холод, угнездившийся в её сердце.

Жизнь в приёмной семье текла своим чередом. По осени сыграли свадьбу старшему. Хорош был урожай в этом году. Всем сородичам досталось по обнове с ярмарки, в том числе и Ялке — новый кожушок. И всё равно она ощущала себя обузой. Это тяготило, это трудно было воспринять. Она и не воспринимала. Нить девичьей души тихонько размоталась до конца. Брать ей было не во что, отдавать — нечего. Иногда она чувствовала, как что-то поселяется в её опустевшей душе, как на острове сгоревшего дома поселяются жуки и птицы, белки, мыши, но это «что-то» было не от прежней Ялки. Имя тоже умирало, уходило, растворялось в будничном «эй ты», «дочка» и «поди сюда». Она не стала удерживать его. Ей даже почему-то стало легче.

Она почти уже привыкла и смирилась, когда поздней осенью, в канун четвёртой годовщины смерти матери, произошло событие, которое заставило её нащупать ускользающую нить своей души.

А нащупав, потянуть за неё.

* * *

Когда идти до дома оставалось два квартала, Фриц заподозрил неладное: уж слишком тихой, слишком безлюдной выглядела улица, обычно полная народу в это время дня. Один-единственный прохожий справил в переулке малую нужду, поддёргнул штаны и, с неприязнью покосившись на мальчика, поспешным шагом скрылся за углом. Осеннее солнце золотило стёкла, отражалось в лужах на мостовой. Было сыро и прохладно. Где-то в отдалении процокали копыта лошадей, четыре колеса большой кареты грохотнули по раздолбанной брусчатке, и снова воцарилась тишина. Фриц помедлил, осторожно выглянул из переулка и двинулся вперёд.

Дверь дома была приоткрыта.

— Мама? — неуверенно окликнул он пустую темноту на лестнице.

Не отозвались.

Фриц шагнул в дверной проём и нерешительно остановился.

— Мама! — вновь позвал он. — Минни! Вы здесь?

Лестница скрипела под ногами. Дом стоял нетоплен, с чердака тянуло сквозняком. Лестница, обычно вымытая и застеленная ковриком, была в грязи, дорожка сбилась, отпечатки грубых башмаков виднелись тут и там. Чуть выше за перила зацепилась голубая ленточка из сестриных волос. Мальчишка подобрал её, свернул и мимодумно положил в карман. Затем поднялся

до конца по лестнице и замер на пороге в молчаливом изумлении.

— Мама...

Разгромленная комната смотрелась жалко и убого. Всё, что в ней было ценного, исчезло. И если до этого Фриц ещё таил надежду, что сестрёнка с мамой просто вышли на минутку (даже не закрыли дверь — так तो-ропились), то при взгляде на второй этаж надежда эта улетучилась как дым. Окно было распахнуто настежь, изодранные занавески колыхались на ветру. Шлак от угля запёкся буроватой горкой, до конца не прогорев, будто огонь в камине залили водой. Игрушки, кухонная утварь, скомканные вязаные белые салфетки, осколки посуды, обломки мебели — всё это страшным и нелепым образом смешалось на полу в бесформенную кучу, только рыжеватый детский мяч из тряпок закатился в угол комнаты и там лежал, растоптанный солдатским сапогом.

Почему-то этот мяч так завладел его вниманием, что Фриц простоял в оцепенении, наверное, с полчаса. Во всяком случае, пока не услышал голоса на лестнице. Но даже и тогда не бросился бежать, а просто поднял взгляд.

Их оказалось трое — стражник в чине десятника и монах, сопровождаемый служкою-писарем. Вряд ли они ожидали здесь кого-то увидеть и поднимались в комнату, ведя между собой неспешный разговор.

— Всеми этому переполоху грош цена, святой отец, — с сильным баварским акцентом бубнил солдат, щедро уснащая речь излюбленными крепкими словечками, из которых «задница», пожалуй, было самым безобидным. — Чтоб эту ведьму взять, хватило б одного меня да, может, пары стражников для пущего страху, а вы всю караулку подняли... Ну да, толпу пришлось маленько разогнать, а то они б её на кусочки разорва-